

ПИСЬМА С ФРОНТА (НОЯБРЬ 1943 – ИЮЛЬ 1945)

Письма с фронта молодого Эвальда Ильенкова — человеческое свидетельство поразительной искренности и духовной зрелости. В них запечатлен, может быть, самый важный момент “подземного роста души”, как называл Александр Блок процесс становления личности. Для тех, кто знал Эвальда Васильевича лично и близко, в письмах как бы отраженным светом высвечиваются знакомые черты и особенности человеческого облика будущего крупного ученого — философа. Для тех, кто знает Эвальда Васильевича лишь по его философским сочинениям, открывается возможность лучше понять, из какого “варева” жизни рождаются мудрая мысль и проблематический характер.

Письма фронтовика Ильенкова к своей “Беатриче”, Ирине О., тоже вкусившей порох войны — это история любви, которая, как часто бывает, получилась “неспойтой песней”, оборвалась в самом ее начале. Встретившись сразу после войны, они пошли каждый своей дорогой жизни, обретая новых друзей и близких.

14.11.43.

Здравствуй, Ира! я сижу сейчас в землянке, среди развалин. Когда-то большой и красивой Вязьмы. Трудно поверить, что недавно здесь был город. Холмы, из которых торчат остатки стен, трубы... а люди уютятся в норах, лишь кое-где возводят постройки из старого кирпича...

Все это, правда, мало занимает меня. Как только сяду сразу на все наплывают мысли о тебе. Грусть охватывает какими-то волнами. Мне все казалось в поезде, что ты совсем недалеко, что стоит только вылезти из вагона, и я сразу встречу тебя. И мне больших усилий стоило убедить себя, что поезд несется уже далеко-далеко от Москвы.

Рядом в купе сидела какая-то девушка, голос которой удивительно походил на твой. Я нарочно не смотрел в ее сторону, чтобы не раз-

рушить это очарование. Будто ты сидишь рядом и что-то рассказываешь, и смеешься...

Позавчера еще мне было безразлично, буду ли я воевать месяц, полгода или год; а сегодня мне хочется кончить эту треклятую войну как можно скорее, и скорее приехать в Москву. С родителями я расставался без всякого сожаления, и грусти по ним не испытываю сейчас нисколько. Это, верно, потому, что у меня сейчас есть ты, Ира, которая мне дороже и ближе всех на земле...

Если бы я был для тебя тем же, чем ты для меня! Я пронесу свою любовь через боль и страдания войны — это я знаю. Если ты чувствуешь тоже — пиши не стеснясь, забудь, что письмо будут читать чужие люди — цензура.

Ира! Может быть я обижаю тебя этими предположениями — прости. Я ведь в этом опыта не имею.

А все, что произошло, случайностью, тем более грязной, назвать никак нельзя...

Если ты меня знала раньше мало, то в моем представлении ты всегда жила серьезной и думающей девушкой. Я за людьми всегда наблюдал. И говорил это другим не раз.

А так скоро все произошло, очевидно, потому, что теперешняя жизнь делает отношения между людьми искреннее и проще. С тобой, насколько я могу теперь понять, происходило приблизительно то же. Ну, слово за тобой, Ира! Жду твоего письма, хоть адреса еще своего не знаю.

24.11.43.

Здравствуй, Ира!

Я все еще не определился окончательно. Нахожусь в небольшом прифронтовом городке и жду, когда, наконец, меня направят в часть. Может быть, пройдет неделя, может быть месяц... Никто ничего толком сказать не может. За эти десять дней я перевидал столько интересных людей, так много любопытных событий, что не уместишь всего в десяти письмах... Я проехал больше двух сотен километров вдоль фронта, все по местам, где еще совсем недавно хозяйничали немцы. Все еще хранит на себе отпечатки их ига... Сожженные дотла деревни, надписи на уцелевших стенах, масса немецких слов в разговоре людей, ходики на стене, которые стоят, потому что какой-то бравадный фриц сорвал, уходя, цепочку с гири... А рассказов, историй! И печальные и смешные... И сами действующие лица этих комедий, а чаще трагедий...

Но до чего же замечательные люди! Это особенно бросается в глаза после Урала. Придется остановиться в какой-нибудь хате у дороги — так тебя ни за что не отпустят, не угостив всем, что сами едят, и обижаются если предложишь за это заплатить. У меня по всему моему маршруту в каждой деревне такие знакомые...

Жаль, что трудно в письме передать хотя бы частицу того, что я слышал и видел... Многое и нельзя сейчас писать по почте.

Я попытаюсь сегодня-завтра узнать, нельзя ли будет съездить в Москву, если пребывание в этом городе окажется более или менее продолжительным. Тогда на машине по шоссе я махну до Москвы меньше, чем за сутки. Трудно представить себе, до чего точно и строго организовано здесь везде автомобильное движение!

Пойду, наговорю с три короба. Может быть отпустят дней на 5-6...

Досадно, что сейчас трудно наладить регулярную переписку. Но так или иначе — или я в ближайшие же дни добьюсь направления в часть, или отпрошусь на неделю в Москву.

Ира! Если случится, что изменится твой адрес, или еще что-либо вроде — то сообщи это моему отцу. Он знает, где я нахожусь и буду находиться, и даже хочет навестить меня здесь. У него возможности такие имеются.

Сейчас уж я мечтаю о том дне, когда мне снова удастся вернуться в университет. Этого мне особенно хочется теперь. Может быть, будем учиться там вместе... Крепко надеюсь, что случится это никак не позже, чем осенью 1944.

Жду фотографии твоей. И, ведь черт возьми, как досадно все обстоит пока с адресом. Хоть бы строчку, хоть бы одно слово получить от тебя, Ирка!

Да! Ведь мы с тобой встретились не 13-го числа... Не в чертово число. Это было 12-го — священное число древне-восточных философов...

Передали ли тебе фотографию мою у радиоприемника? Это я в пору увлечения моего Рихардом Вагнером.

Сухиничи. 7.12.43.

Застрел на пол дороге. Жду уже 12 часов, и еще, видно, придется не меньше. Сегодня не везет. Наверно потому, что удаляюсь от Москвы, от тебя...

Ехать было тесно, все время открывали дверь, и меня обдавало холодом, не давали уснуть. Всю эту ночь мне, откровенно говоря, было грустно, несмотря на наше хорошее, спокойное прощание. Стоило

мне заснуть на миг, как ты была снова рядом... Ласковая, любимая... а просыпался — опять холодный вагон, чужие люди...

Сейчас день. Не так грустно. Мне особенно жаль, что вчерашний наш разговор остался неоконченным. Так много осталось недосказанного, не разъясненного. Вчерашний наш день был так хорош! И оборвался посередине... И я ведь прав был, когда хотел остаться еще на сутки. Эти сутки я все равно теряю даром в тесноте и грязи здесь, в Сухиничи. Целые сутки. Они были бы еще лучше, чем те...

Чем больше мы знали друг друга, тем лучше нам было вместе. С каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой.

А это очень хорошо, Иринка. Это много значит. Тогда, в 1941-м у меня было совсем обратное.

Людей я постигаю больше не рассудком; я как-то их чувствую. Рассудок у меня в этом отношении играет роль второстепенную, оформляя и уясняя для себя это особое чувство. И я, насколько я помню, ни разу не ошибся в человеке. Если я близок кому-нибудь больше, чем неделю, это и сейчас мой хороший товарищ. Правда, таких немного. Я могу их пересчитать на пальцах. Один из них — Яшка. В армии я за полтора года такого человека не нашел.

И если сейчас мне приходится вместе с хорошим человеком ехать, есть из одной тарелки, спать под одной шинелью — то это все таки что-то не то... А ты, Иринка, мне ближе всех. Какой-то особенной близостью. Как будто я знаю тебя всю-всю, больше, чем самого себя.

Когда я пишу это, у меня такое чувство, что все это ты уже знаешь, что у тебя совсем такие же мысли и чувства. Что будто я оставил у тебя часть себя, своего мозга, своего сердца... Что ты не можешь не ждать меня, как мать не может не ждать сына, как сын не может не ждать отца. Любовь моя такая хорошая, спокойная, твердая, что ее не погасят годы. И за тебя я так же крепко уверен. Я знаю тебя, Иринку.

Иринка, когда будешь знать мой адрес, пришли мне в письме локон твоих волос!

Ну, до свиданья, Иринка, Ирка!

Вадька. 7.12.43.

P.S. Иринка! Позвони моим — скажи что доехал благополучно, им писать может не смогу.

10.12.43.

Письмо из Сухиничей не отправил. Еле добрался до Кричева. Ехал в товарных вагонах, пришлось даже ночью висеть на буфере, чуть не попал в контрразведку из-за своих документов... Ну, ничего — бе-

реженого бог бережет. Кажется так? Сегодня поеду к большому начальнику, а там, м.б., снова поеду в Москву за машинисткой и бумагой. Но это постараюсь уж на машине. А то так ехать — с поезда на поезд, с машины на машину — одна мука. Сейчас уже очень холодно, особенно ночью. Да и провезти все равно ничего нельзя. Смотришь больше за тем, как бы самому не сорваться под колеса — не то что за чемоданом...

Иринка, любимая... Для того чтобы тебя увидеть, я готов еще в десять раз больше мерзнуть и путешествовать. Ты разбудила во мне такую жажду действия, какую я никогда в себе не ощущал. За одно только это я должен быть тебе благодарен. Ведь как раз этого мне в армии часто не хватало.

Если я для тебя так же дорог, как ты для меня, Иринка, то я не могу не вернуться... “Жди меня, и я вернусь! Только очень жди...” Хороший поэт! Родина для меня — это ты. За нее, за тебя я буду драться, не жалея ничего. Меня несколько не пугают теперь трудности борьбы — холод, голод, смерть. Я знаю, что вытерплю все это, потому что так надо, потому, что ты меня ждешь. И я вернусь целым, невредимым.

Иринка! Я тебя очень прошу — заходи хотя бы изредка к моим родным, особенно к отцу. Я сказал ему тогда: “пусть Иринка будет тебе таким же дорогим человеком, как я сам”. Он понял меня, как всегда понимал, он поймет и тебя. Даст хороший совет, если будет нужно. Рассказывай ему все, как мне. С ним очень интересно поговорить обо всем — о жизни, о людях. До тебя он был мне самым близким человеком, кому я рассказывал все; вернее почти все. Впервые я говорил с другим человеком, как с самим собой, только в самые лучшие в моей жизни дни — с 29 ноября по 6 декабря. Но ты — это не другой человек. Это я сказал плохо. Ты — это я, Иринка, моя Иринка!

Какое же это большущее счастье!

Я, как верующие крест, ношу на груди твою звездочку. Она мне кажется такой теплой, ласковой — эта маленькая желтая звездочка... Твоя звездочка, кусочек Иринки...

P.S. Через два дня — месяц, как мы встретились... Год пройдет так же быстро!

30.12.43.

Жаль, что новый год не удалось встретить вместе. Но ничего. Он все равно будет нашим годом. Обязательно.

Хорошо, Иринка, быть так уверенным в тебе, как я уверен.

Такие отношения, как у нас с тобой, в большинстве случаев зависят не от шальных гранат и пуль, с которыми имеет дело “он”, а от того, сумеет ли “она” ждать... Ждать так, как ждет она — труднее. Это подобно тому, что легче идти до следующей остановки поезда или трамвая, рискуя опоздать на тот самый поезд, который идет где-то далеко, чем сидеть и ждать его сложа руки... Между твоим и моим ожиданием сейчас как раз такая разница...

Я опять достал книжечку Симонова, и весь день что была она у меня читал ее и перечитывал. Очень много невольно запомнилось, хоть и не старался я заучить нарочно. Хорошее это? —

*Я очень тоскую,
Я б выискать рад,
Другую такую,
Чем ехать назад.*

*Но где же мне руки
Такие же взять,
Чтоб так же в разлуке
Без них тосковать?*

*Где с тою же злостью
Найти мне глаза,
Чтоб редкою гостей
Была в них слеза...*

Как поживают ребята? Видела ли ты их? Передала ли адрес?
Ну, до свидания! Жду писем.

Вадья.

5.1.44.

Иринка, Здравствуй!

Сегодня вручили мне твое письмо от 25-го — со сказкой... подаю и улыбаются — вот тебе, говорят долгожданное... Догадываются, что за такая товарищ О. Маленький твой подарок до меня не доехал. Какой-то чересчур подозрительный цензор взял на память. Только одна золотистая паутинка случайно приклеилась к конверту...

Ни разу я так не грустил и не радовался от писем, как сегодня от твоего. Бедная моя, ты болела, оказывается, и все думала обо мне... Ну, ты смотри не грусти! Это, верно, всегда так.

Теперь мы, кажется, переменились ролями — я уж тебя утешаю. Хоть не большой я в этом деле мастер... Трудно это. Да и стоит ли? Она, любовь, ведь и в том, “чтобы мучиться от разлук, чтобы помнить при расставании боль сведенных на шее рук”...

А зато, как радостна будет встреча... А она будет... Сталь и крепка только тогда, когда ее, бедную, — из жаркого пламени — да в ледяную воду... да еще и молотом. Потерпи, зато будешь крепкой и красивой... Ромео с Джульетой, Франческа с Паоло, Изольда с Тристаном — счастье, хоть и со страданием у них, а не в мирном топком болоте.

Ты не помнишь вагнеровского “Тристана”? Вот что я бы хотел послушать вместе с тобой (о нем очень хорошо написал Р.Роллан — в той книжке, что лежала месяц назад у тебя на столе).

Обязательно слушаем его и вспомнятся эти дни. Там особенно сильный эпизод — “ожидание Изольды” — оно мне вспомнилось, когда я читал твое письмо.

И вот вдали появляется корабль... Дальше, правда, слишком грустно.

Может быть, конечно, ты и права, когда себя “нехорошей” называешь. Человек так устроен, что чаще жалеет о том, что чего-то не сделал, чем о том что, сделал что-то. А вообще-то говоря, я больше “нехороший”. Ты понимаешь.

Но это уж такая область, где рассуждения не помогают, а только мучают понапрасну и я зря начал философствовать.

Если плохо сказал — прости.

Обязательно присылай свою фотокарточку. Я много бумаги перепортил — все пытаюсь нарисовать тебя. Получается хоть и похоже — но — не то... не Иринка...

Живу я по-прежнему. Посижу на занятиях, а потом отправляюсь домой — сны смотреть. Как в кино.

Вот что забавно. Я за эти два с половиной года начал забывать школу. Другое ее заслонило — университет, армия... А вот ты мне так ее напомнила! Снятся мне сейчас всякие глупости.

Да и вообще-то я плохо представляю, как это могло бы быть, что мы с тобой незнакомы.

Так то, товарищ младший лейтенант. Я тут обрядился, наконец, по-человечески. Шинель хорошую получил, валенки, рукавицы и прочее. Хожу, как ведьмедь. Это ты скажи моим. Им я не пишу, как-то нет охоты...

Жду письма с твоей фотокарточкой. Только боюсь, опять тот цензор, что успел влюбиться в твои волосы, опять не пропустит...

7.1.44.

Хотел я вчера отправить тебе письмо, и по дороге на почте отдали мне твое новое — от 29. Оно меня сильно взволновало, на почту я не пошел — письмо, которое я нес, показалось мне совсем не таким, какое нужно тебе написать.

Бедная моя, ты сильно тоскуешь. Так досадно мне, что ничем не могу я помочь твоему горю! Письма мои, я вижу, только еще больше расстраивают тебя... Так мне хочется приехать к тебе! Прямо хоть пиши рапорт с приложением твоего письма вместо документа...

Даже плакать ты научилась... Ну, что же мне с вами делать, товарищ младший лейтенант?... Нельзя так. Очень тосковать, кроме шуток, не нужно. Немножко, конечно, разрешается. Ведь любовь и была всегда органическим единством радости и страдания. Одно без другого не понять, одно без другого не было бы тем, чем оно есть.

Видишь, я невольно стал говорить то, что давно давно сказали и Гегель, и Маркс. Диалектика оказывается и тут верна... Значит это правда, и не надо плакать, раз это страдание — та же радость, необходимо переходящая “в свое другое”, по гегелевски выражаясь...

И чем больше противоположность между одним и другим — тем красивей и больше то целое, что они образуют в своей борьбе и своем единстве — любовь.

Так что, товарищ младший лейтенант, не относитесь к своему горю метафизически, только как к горю “в себе”, самому по себе взятому. Мыслите и чувствуйте диалектически, постигайте одно через другое; в их единстве созерцая целое...

Жизнь, конечно, не схема. Но в ее разнообразии форм и явлений надо видеть закон, всем управляющий, и делающий пеструю неразбериху понятной и ясной.

Ну, довольно философии? (“далекая снежная принцесса, ледяная и не тающая Снегурочка”?) Довольно. Давай теперь помечтаем... О том дне, когда зарастут густой травой траншеи и могилы, когда в опустевших блиндажах будут играть ребятишки, когда можно будет радоваться сегодняшнему дню и завтрашнему, который будет еще лучше... О том дне, когда мы улыбнемся друг другу и голубому небу... О том дне, когда я скажу тебе — видишь, все о чем мы мечтали — сбылось. А ты горевала... И ты ничего не скажешь, а только улыбнешься, счастливая... Иринка, посмотри на те фонари вдоль переулка. Они сейчас пылают радостным ярким светом, и их так много, что не сосчитать... А тогда, в 1943-м, их было четыре, и эти четыре едва светили в снежной воюющей вьюге... Где они, те, четыре? Давай завтра, ведь завтра — выходной день — будем ходить по Москве с 8-ми часов до 3-х — по тем улицам как тогда, зайдем в тот переулок, где поцеловал я тебя первый раз, где сказал я тебе, сам не веря своей смелости, те два слова, на которые ты счастливо улыбнулась, которых ты так ждала...

А потом будем читать вместе наши старые пожелтевшие письма, которыми мы утешали, как умели, друг друга в те холодные вьюжные дни, когда война раскидала нас в разные концы страны.

Иринка, знаешь, я тут своим случайным друзьям всем говорю, что у меня есть жена. Ты не обижаешься? “По праву тех, кто может не вернуться”... Хотя я то вернусь. Это так, для красного словца.

(20-е числа января 1944)

Иринка, я сижу с тех пор, как оставил тебя у остановки троллейбуса, и у меня все наворачиваются на глаза слезы. Я сижу вот до сих пор — сейчас половина первого.

Я верно скоро дойду до того, что где-нибудь при всех обниму тебя и зарыдаю. Это не шутка, Ирка, противиться этому я не могу.

Одно я тебя прошу, Ирка стань моей женой — иначе все это кончит-ся для меня черт знает чем. Я никогда не думал, что смогу любить так.

Пусть будешь ты женой мне всего один день — этого счастья хватит мне на всю жизнь. Пусть ты потом уедешь, пусть потом весь мир перевернется вверх ногами — я буду жить только этим счастьем. Я разорву потом все, что будет связывать меня, когда увижу тебя снова. Сейчас я для тебя все готов отдать — и жизнь, и счастье — все к черту. Пойми же меня, Ирка!

Только не подумай ради бога, что я хоть капельку выпил.

(20-е числа января 1944)

Иринка!

Я стал совсем, совсем сумасшедшим. Меня дома спрашивают о чем-нибудь, а я сижу глядя в одну точку и не понимаю, о чем они говорят. Они уже привыкли к таким моим фокусам, как вчера — когда я вдруг в 11 часов встал и ушел из дома. И с каждым днем я становлюсь все более безумным. Я не знаю, чем все это может кончиться. Не могу я противиться тому, что со мной происходит.

Иринка, ты одна меня поймешь. Вижу, этому не сможешь холодно-рассудочными советами. Иринка, может быть, лучше будет, если, забыв все, мы крепко свяжем навсегда наши жизни?

Ты скажешь, что это может помешать нам в будущем? Мне думается наоборот. Это только немного отрезвит нас, заставит немного практичнее думать. Сейчас я ведь ни о чем не думаю, ни к чему не стремлюсь, только придти через год и сказать: “Иринка, я сдержал свое слово. Сдержи свое”. А в остальном ведь ничего не изменится.

Вот одно досадно. То, с чем я не могу примириться. Может ведь случиться так, что я не вернусь. Все-таки война. Тебе это будет в сто раз тяжелее. Нет, это я уже говорю глупости.

Я вернусь, всем чертям на зло, вернусь! Хочу так, и знаю. Не может быть по-другому.

А мамаша думает, что я заболел. Все уговаривает не ходить на улицу. Чудная! Вадька.

25.1.44.

Вот и все. Теперь я не боюсь тебе писать все, как тогда, несколько часов назад. Это — последнее — уже никогда не покажется глупым.

Так стало все пусто, просто. Как будто прозвучал “подъем”, и из красивого сна попал в яркий свет, делающий все до боли ясным.

Вот, Ирина, случилось то, что и должно было случиться. Я сдался легко? — да. Это уж я такой. Теперь я тебе расскажу про себя и ты поймешь, почему.

Если бы ты сказала все что угодно, равнодушное, злое — я бы не ушел. Но ты сказала, что не веришь больше в меня. А это самое страшное. Ведь меня не за что больше любить. У меня было только одно хорошее, за что меня могли любить, — это та самая слепая и очень, наверное, глупая верность тому, что люблю. Это у меня было самое лучшее. А ты полюбила меня не за это. Значит ты ошиблась. Больше у меня ничего хорошего, честное слово, нет...

Я, Иринка, очень плохо приспособленный к нашей жизни человек. Я не могу жить так легко, как многие мои друзья. Те удовольствия, то нехитрое счастье, которое они, постоянно встречая на дороге, испытывают, и бывают им довольны, мне непонятны. Я им завидую. Для них счастье бывает здесь, в жизни, и осязаемо, реально... А я всегда все приносил в жертву далекой и глупой, несбыточной мечте. Мне из-за этого очень тоскливо бывало, когда задумывался. Но мечте изменить был не в силах. И по своему был счастлив. Был, Был, Был!!! Я всегда был такой. До тебя были другие стремления и мечты, и я всегда больше жил будущим, чем настоящим. В тебе впервые мечта и жизнь были вместе. С тобой я испытал минуты, впервые в жизни, про которые я не думал — скорее бы прошли — для того, чтобы быть ближе во времени к лучшему...

А сейчас — страшно и пусто, пусто. Мечты нет. Ушла. А кругом — что я могу найти хорошего?

Для меня только и осталось одно теперь — отбывать повинность жизни, как говорит Шопенгауэр, с надеждой на то, что м.б. да и встретится когда-нибудь островок хоть какого-нибудь счастья.

Даже сейчас, неисправимый осел, я пишу, а сам в душе надеюсь — а вдруг еще не все... Прости меня, я не затем пишу, чтобы сохранить какие-то надежды на отступление — не затем. Это уж я такой, нездешний...

Но зачем, зачем ты такая хорошая и родная, не поняла меня, отняла у меня мечту? Зачем ты не могла обмануть меня? Ведь я бы скоро уже уехал и может не вернулся бы. Тебе ведь ничего не стоило обмануть! А теперь я уезжаю с такой болью, за тебя, за то, чему бы я принес с радостью в жертву все-все. Лучше бы ты сказала, что не любишь, чем хоть чуть усомнилась в моей верности и любви. Здесь уже я бессилен. Можно вернуть ушедшую любовь, но никогда — веру, если она хоть раз поколебалась.

Больно, больно. Ведь я так тебя любил! Может быть, ты вспомнишь когда-нибудь, может быть увидишь, что была не права и жестока.

Ирка, Иринка, родная, прощай! Вспомни меня потом хоть раз, когда будешь любить кого-нибудь, кто будет лучше меня. Такого не люби никогда больше. Ты слишком хорошая для такого как я. Вспомни меня, ленивого, который жил больше будущим, а выйти на улицу не хотел, чтобы встретить.

Если бы ты стала моей — я не знаю, был бы я счастливее, чем так, только мечтаю об этом, и стремясь.

Иринка, родная, до боли любимая, прощай!

конец января 1944 (?)

Здравствуй, Ира!

Я уже подъезжаю к городу, которому обязаны рождением ты и я. Кругом — следы недавних боев: сожженные деревни, укрепления, остатки эшелонов под откосами, брошенное оружие...

Радует, что мы попадем сразу ближе к делу. Фронт уже чувствуется по всему.

Ира! Я день и ночь думаю о тебе, моя любимая. Ни на чем больше я не могу сосредоточиться.

Одна мысль мучит меня все время: я так нес скоро смогу обменяться с тобой мыслями... Что ты думаешь сейчас обо мне, о нашей любви...

Снова приняться за письмо удалось только сейчас, в городе, к которому ехал. Побывал на улице, где родился. Город все же можно узнать: стены домов почти все сохранились, и, хоть содержимого не

осталось, это все же дома, улицы, площади... Не то, что Вязьма, от которой остались одни холмы.

Так мне много хочется сказать тебе, Ира, и все не могу толком. По совести сказать, это уже третье письмо, которое я пишу за последние сутки. Сейчас убеждаюсь, как беден наш человеческий язык...

Когда-нибудь, надеюсь скоро, мы прочитаем вместе эти недоконченные письма. Сейчас, здесь в холодном вокзале (если стены без потолков и окон можно назвать вокзалом), в толчее и дыму костров, трудно писать. Сейчас я двинусь дальше. Как только доберусь до более определенного места, сразу напишу, приведу в порядок все бродящие в голове мысли.

Вадька. Смоленск.

(лист из блокнота со стихами) (часто несоответствие с оригиналом текста: пунктуация, оформление...)

*Я ночевал в гостиницах,
Слезал на дальних станциях.
Что впереди раскинется —
Все позади останется.*

*Я не скучал в провинции,
Довольный переменами,
Все мелкие провинности
Не называл изменами.*

*Искал хотя б прохожую,
Далекую, неверную.
Хоть на тебя похожую,
Такой и нет наверное.*

*Такой, что вдруг приснятся мне
То серые, то синие,...
Глаза твои с ресницами
В ноябрьском снежном инее,*

*Лицо твое усталое,
Несхожее с портретами,
От снега губы талые,
С мороза мной согретье.*

*И твой лениво брошенный,
Взгляд, означавший искони -
Не я тобою прощенный,
Не я тобою ис坎нный...*

*Я только так, обласканный,
За то, что в ночь с порошею,
За то, что в холод сказкою
Согрел тебя, хорошую...*

*И веришь ли, что странною
Мечтой себя тревожу я -
И ты не та, желанная,
А только так, похожая...*

* * *

*Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.*

*Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.*

*Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло. -
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.*

* * *

*Не сердитесь — к лучшему,
Что, себя не мучая,
Я пишу от случая
До другого случая...
Письма пишут разные:
Слезные, болезные,
Иногда прекрасные,
Чаще — бесполезные.*

*В письмах все не скажется
И не все услышится,
В письмах все нам кажется,
Что не так напишется.
Чтобы вам не бедствовать,
Не возить их тачкою,
Будут путешествовать
С вами тонкой пачкою.*

*Коль вернусь — так суженых
Некогда отчитывать,
А умру — так хуже нет
Письма перечитывать.*

*А замужней станете,
Обо мне заплачете -
Их легко достанете
И легко припрячете.*

*От него, ревнивого,
Заперевшись в комнате,
Вы меня, ленивого,
Добрым словом вспомните.*

*Скажете, что к лучшему,
Память вам не мучая,
Он писал от случая
До другого случая.*

* * *

*Пусть нас простят за откровенность
В словах о женищинах своих
За нашу злость, за нашу ревность,
За недоверье к письмам их.*

*Да, мы жестоко говорили,
Собравшись в тесном блиндаже,
О них, которых мы любили,
И год не видели уже.*

*Да, мы судили их поступки,
Так что захватывало дух,
Да, мы толкли, как воду в ступке,
До нас дошедший скверный слух.*

*Слова ласкающие, птичьи,
На ум не шли нам. Вдалеке
Мы толковали по мужичьи
На грубом нашем языке*

*О белом полотне постели,
О верхней вздернутой губе,
О гнущемся и тонком теле,
На пытку отданном тебе.*

*О белой и прохладной коже,
И о лице с горящим ртом,
О яростной последней дрожи
И об усталости потом.*

*Нет, я не каюсь, что руками,
Губами, телом встречи ждал.
И пусть в меня тот бросит камень,
Кто так, как я не тосковал.*

*А если вдруг такой найдется,
От нашей грубости храним,
Той, что с войны его дождетя,
Я не завидую — бог с ни*

10.2.44. 6 ч. вечера.

Вот я и на месте. Мне всегда везет. Потому, верно, что ты ждешь. Из Сухиничей письмо не отправил, хоть и написал. Потом как-нибудь расскажу — почему.

Жаль что ты не поехала на вокзал. Все обошлось тихо-мирно, мы даже пообедали там. И, грешным делом, хлебнули с горя немножечко. И без всяких треволнений доехали до места.

Ирка, родная! Какой ты была хорошей в последний день! Все время чудисься ты мне такая — веселая, радостная — и только глубоко-глубоко — грусть разлуки...

Захочешь — не забудешь такую..

Сильно тоскливо было мне, когда полетели назад, в ночь, телеграфные столбы, когда уносился вдаль жалобный крик паровоза. Только в такие минуты понимаешь, как сильно любишь.

Вот сказал Симонов — ”необходим нехитрый рай для тех, кто **по-слабей** душою”. А я в те минуты понял — у меня наоборот, **не хватит сил** забыть Тебя хоть на минуту. До чего же ты, сатана, хорошая! Иринка, я не буду считать письма — буду писать тебе сразу, как станет очень тоскливо. И от этого немного легче становится.

А ты тоже, наверно, успела соскучиться? Это хорошо. Люби, тоскуй и жди. Тогда обязательно дождешься. И пришли мне непременно твою фотографию. Мне так ее не хватает! Пришли, очень прошу, пришли!

Ирка! Одно запомни: чтобы ни случилось с тобой — обязательно приходи. Я ничуть не меньше тебя любить буду. А постарайся все таки не ехать. Ладно?

15.2.44.

Так соскучился я без тебя, без твоих писем...В Москве ты, или уже далеко, напрасными оказались все опасения, или все таки уедешь? Все это очень меня тревожит. Пиши скорее мне, как все уладилось. Очень жду хоть бы строчку.

О себе писать нечего. Сижу на канцелярской работе, скучно до чертиков. Обещали скоро направить в часть, но недели две, верно, придется быть чиновником...

Позавчера сидел я и писал что-то. Вдруг является какой-то старший лейтенант — и докладывает. Слышу — голос какой-то знакомый. Я пригляделся — определенно видел где-то. И вспомнил. Где, когда, он назвал фамилию. Это Алексеев — из нашей, 170-й школы. Я подошел и спрашиваю: “старший лейтенант, это тобой Зою Комскую дразнили?”

...У него до сих пор ее фотографии хранятся. Ты ей обязательно скажи. Адрес — тот же, что и мой. Он не пишет потому, что адреса ее не знает. На старую квартиру, говорит писал — не отвечает.

И еще забавный случай. Пришел генерал. Увидел меня. Постричься, говорит нужно. Я молчу. А он посмотрел и спрашивает: а это

что за звездочка на кармане? — Запасная, товарищ генерал... — Запасная, говоришь? А эмблему с погона куда задевал? — и смеется...

...А в общем очень и очень скучно.

Ну что ж, так и буду жить надеждами на тот день, когда снова вzbегу по знакомой лестнице, позвоню три раза, и ты сама откроешь. Три звонка — это к тебе. И только я...

Я верно вырвусь отсюда снова весной. Они хотят послать меня в часть, которая рядом с ними все время. Даже адрес, кажется останется у меня тот же, только литер другой. Андрюшка тоже там работает.

Ну, я на все согласен, только бы увидеть еще тебя. Только бы ты была в Москве, остальное приложится. Мне пока везет, и дальше так будет. Я и так всегда был удачником, а с твоей звездочкой мне теперь море по колено...

Так пришлешь ты мне, мучительница ты моя, фотографию? Чтобы только веселая, такая как бываешь, когда уезжаю. Ладно? — И поскорее!

Эх, хочется мне рассказать одну историю, да в письме толком не расскажешь. Приеду — расскажу. Жди трех звонков!

24.2.44.

Сегодня — теплый весенний день, падают капли, небо чертовски голубое, а мне куда больше грустно, чем вчера, когда бушевала и выла тоскливая метель. Почему это так? Я иду по полю один и ругаю себя последними словами за то, каким я был с тобой. Попадается под ноги ком снега — бью его с таким остервенением, будто он один виноват во всем. Таким злым на себя, как сегодня, не был я никогда в жизни! И так мне не хватает сейчас только одного твоего ласкового слова, взгляда твоего...

И особенно сейчас досадно сидеть без дела. Вчера вернулся из полка, от артиллеристов, и так не хотелось оттуда уезжать. Так хочется самому делать все, чтобы приблизить встречу, после которой уже не придется расставаться!

Ирка, ты помнишь есенинское — “я спросил сегодня у менялы”... — оно вдруг мне вспомнилось сегодня.

Я теперь тебя понимаю, как никогда раньше. Эх, слышала бы ты, как я себя клянчу!

P.S. Сейчас адрес мой — 13335”К” — но боюсь, что долго здесь не буду. Пиши по старому адресу — 36538-Г!

29.2.44.

Сейчас получил сразу два твоих письма. Так радостно стало на душе! Вся злость на себя сразу пропала. Стал я аж сам себе казаться хорошим (хоть, между нами, зря).

Наконец выгнали из части, где приходилось заниматься с утра до вечера канцелярщиной. Конечно, с одной стороны это плохо — труднее будет вырваться в отпуск. Но не беда. Везло всегда, повезет и впредь. Вот одно досадно — еще тогда на сутки в Москве не остался — пошли бы Берлиоза слушать. Все равно — за семь бед — один ответ — бутылка шампанского...

Да... (мда-а!..) Вчера я еще плевался и кусал себе губы от злости на себя, а сегодня опять “жизнерадостно смеюсь”, хоть ты и не советуешь...

30.3.44.

Я уж совсем крест на тебе поставил — ну, думаю, где-нибудь в Бесарабии, румын допрашивает... И только послал твоей маме открытку — где, мол, Ирка, — приносят от тебя письмецо. Я уж третью неделю команду взводом. Ношу на рукаве такой же значок, как у тебя на кармане — только побольше — знаешь, что это значит? Ну, не беда, это, может, только временно... До чего же трудно взводом командовать! Мне тут уж и арестов пообещали... Я то, правда, не унываю. Все обойдется.

Ты только пиши мне почаще и побольше! И обязательно фотографию пришли. Я сейчас куда больше нуждаюсь в ласковом от тебя слове, чем там, в городе, где я всю зиму сидел... Целый день кручусь, как заводной: то лошади мои грязные, то пушки заржавели, то в землянках вода по колено. Вот сел я тебе писать — уж зовут: занятия проводить нужно...

Получила ты все мои письма? Я написал не то 3, не то 4 штуки. И два из них — длинные, не то, что ты написала. Ты смотри, не злоупотребляй этим, сатана! Вот с бумагой у меня дефицит. Не на чем писать. Почему — расскажу, если приеду. Ты, в общем, не горюй — жди 3-х звонков. Из одной переделки я уж вышел благополучно, только что сумку полевую пришлось бросить. Вот уж я и проболтался насчет дефицита в бумаге. Ну ладно, расскажу после...

28.5.44. Москва.

Я в Москве, такой пустой и никчемной без тебя... Меня все время не покидает чувство, похожее на то, которое охватывает, когда ждешь без дела долго не прибывающий поезд. Ни на месте не сидит-

ся, ни заняться ничем не могу. Ходишь-ходишь, как Агасфер, так и тянет к бутылке. Это я перед тобой оправдываюсь на тот случай, если твоя мама напишет тебе, что “Вальдек окончательно пропавший человек, которого среда заела и с которым знакомства лучше не водить”... Никак я не пойму, за что она меня так мучает. Я приду тихо-мирно на фотографию твою посмотреть, а тут и начинается...

То я фуражку в комнате забыл снять, то локти на стол положил, то еще чего-нибудь... Вот представь себе картину: сижу я на стуле, руки не знаю куда девать — потому что обязательно сделаю не так — и смотрю жалобными глазами на Марию Ильиничну. А она с жестоким наслаждением обучает хорошим манерам. И никак не убежишь... Век бы не приходите! А только “куда ни поеду, куда ни пойду”, все меня на Кузнецкий мост и тянет... Беда, да и только... А ты на все это спокойно смотришь со стенки, да еще премило улыбаешься...

Думал я, что тянет меня в этот дом пыток только фотография твоя; взял да и стащил потихоньку. Так нет же, опять пришел мучиться.

Ирка, приезжай, помоги! Отвлеки на себя хоть часть этой воспитательной работы!

Сегодня пойду слушать 7-ю симфонию. Досижу до конца, или опять тоска нападет? — Я позавчера пошел “Травиату” слушать. Так еле до конца 1-го акта досидел. Ушел — и на Кузнецкий д. №4... (не то третий, не то 4-й раз за тот день).

Только здесь, три дня назад, узнал о тебе поподробней — где ты, что ты, как доехала, адрес... Перечитал письмо за письмом всю твою Одиссею.

Сейчас я в Москве вроде надолго. Дела хлопотные — отправляю людей, вышедших из починки. Очень хлопотное дело...

25.06.44.

Вот и наше “болото” зашевелилось. Правда, это для тебя уже будет известием двухмесячной давности — твои письма шли до меня ровно 2 месяца... А ответ на это письмо получить удастся не раньше, чем в сентябре-октябре. Долго ждать. Так что ты хорошо делала, что писала, не дожидаясь моих посланий (ты уж прости, что я так самоуверен...)

Что касается твоей работы — то что же, это лучший из возможных вариантов. Правда, не знаю, как она тебе по душе придется. Я в подобном учреждении проработал 2 недели зимой, а потом так надоело, что постарался, чтобы меня оттуда выпроводили.

И вот попал я туда, где нахожусь до сих пор. Работа никак мне не по душе. Люди, с которыми все время имею дело — малоинтересные,

поговорить, помечтать — не с кем. Правда, среди тех, кто приходят и уходят, попадаются очень и очень люди хорошие, изредка отведешь душу, но это, конечно, не то... Кроме того, это очень не нравится людям в чинах подобных моему, делает мои с ними отношения еще более холодными и натянутыми.

Уж как я просил отправить меня куда-нибудь — ни в какую...

Так что настроение такое, что хоть прямо вешайся, либо стихи пиши... А пока что читаю и перечитываю томик Лермонтова, что приватил из Москвы. Хороший или плохой это признак — то, что он мне очень сейчас по душе — заключать не берусь.

Так хочется большого, настоящего дела! Это переливание из пустого в порожнее, чем я тут только и занимаюсь, осточертело до такой степени, что словами не опишешь.

Мне очень досадно, что письма мои к тебе выходят вовсе не такими, каких бы я хотел тебе слать. Порой, чаще всего вечером, охватит вдруг такое настроение, что кажется, только бери карандаш и пиши страницу за страницей тебе, сядешь за стол, зажжешь коптилку, да так и просидишь перед чистым листом бумаги весь вечер... Все думаешь, думаешь....

3.08.1944.

Не сердись, что так редко балую тебя письмами — но — честное слово, я виноват меньше всего. Ведь ты слышала, каким вдруг обернулось наше болото. За эти дни я много приключений пережил, оттопал пешком столько, что и считать бросил, был в переделках, жил у партизан — всякие истории.

Командую я подразделением на ранг выше старого, так что тоже тебе не мешает проникнуться уважением!

А писать — ну просто нет времени. Вот отца наградили орденом — а я ничего так и не смог написать ему. Тебе первой пишу. А дома так и не знают, где я с тех пор, как я там был, еще до наступления.

Вот и все. Коротко время, коротко и письмо. Да только еще домой сегодня надо черкнуть, а завтра тронемся дальше и дальше, в Польшу.

23.10.44.

Теперь я, наконец, там, где должен быть. Теперь у меня значительно меньше шансов остаться в живых, а невредимым — вовсе, можно сказать, исключены, эти самые шансы... Но настроение (хотя, по правде сказать, то, что называется “настроениями”, надо мной имеет

мало власти), лучше, спокойней, чем до этого. Исчезла та неудовлетворенность, та беспредельная тоска, которые всегда возникают, когда некоторое время побудешь в вынужденном безделье, в работе, ненужность которой ясна как божий день...

Немцы упорны, за их спинами — их дома. Они цепляются, закапывают в землю танки, бьют и день и ночь из орудий, в каком-то слепом отчаянии. Они стали уж тут, на пороге своих жилищ, совсем безумными от страха перед расплатой.

Много впереди работы... Но зато, если вернусь, у меня будет право честно посмотреть тебе в глаза, Иринка... Ну, а если не вернусь — теперь каждое мое письмо может оказаться последним — вспоминай обо мне изредка. И прости, если письмо, которое я написал после смерти Яшки, тебе не понравилось. Ладно?

P.S. Только ты в Москву не пиши обо мне ничего. Я туда написал в дипломатическом тоне...

6 ноябрь 1944.

Ирка, ура, ура, ура!!! Ты в Москве!!!

Сiju и смеюсь без причины, а этого уже давно не было. Были одни огорчения да трудности, ничем не скрашиваемые, а теперь, хоть путь мой дальнейший во сто раз труднее, я буду идти с легкой душой, зная, что ты дома, что тебе не грозят нелепые злые случайности.

Теперь слушай, буду рассказывать о себе. В Запасном, где я служил, я решил больше не быть, и вырваться, хоть в штрафную. Особенно это решение я поставил себе в задачу после письма о гибели Яшки, и письма твоего, которое ты адресовала в Москву, и которое я получил одновременно.

И вот я вырвался. С треском.

И вот я на маленьком кусочке земли, который немцы отчаянно пытаются отбить обратно, чуя, что этот кусочек земли на берегу одной реки недалеко от Варшавы, к северу, явится роковым для всего Reich'a...

День и ночь — огонь. Снаряды, скрипуны, пули... Мы лазим по траншеям, сырым, мокрым, холодным, живем в ящиках, глубоко под землей. Пушки наши, зарытые в землю, стоят, спрятав свои длинные стволы в высохшую траву и ждут тигров, пантер, и прочих зверюшек. На нашем участке этих чудовищ уже неделю нет. Они рычат все где-то в стороне.

Так и течет жизнь моя, под землей, под несмолкаемую музыку, какой больше ни в одном концерте не услышишь. А началась моя жизнь на переднем крае так. Решили выкатывать пушки днем. Я с

комбатом вылез на высоту, смотрю, ищу место для позиций. Немцы лазают совсем близко — а в бинокль смотришь — совсем рядом... нашли место. Очень любопытно... Вызвал орудие, и только машина отцепила его и начала отъезжать — как зашуршат над головой фрицевы снаряды... Один рванул метрах в 7 от меня, в соседнем колене траншеи, аж оглох... Остальные пушки ставили ночью...

И вот потянулись дни подземной жизни. Сегодня отправился я (это уже, вернее вчера вечером, сейчас ночь), в тыл, а возвращался в полной темноте. А траншей спутать легко. А тут еще не выглянешь, фриц сыпет веером трассирующие пули, вот и иди целые километры по траншее, по щиколотку в воде, а выглянешь — красиво... Ракеты фриц жжет непрерывно, как во дни салютов в Москве... Правее горят пожары... Ухают орудия... Шел, шел, да не туда зашел... Пришел домой злой, за шиворотом песок, в сапогах вода... И вот — подают письмо. Я от радости чуть не задохся! Ирка, Ирка, ура!!!

Ну вот и все. Воюю я третью неделю.

Привык быстро. Даже начал устраивать забавы — такого рода, как в школе, на букву С., боюсь цензура заподозрит в этом слове недоброе, потому не пишу...

Пришел к нам вчера один работник войскового тыла, и пошли мы с ним по делам. Кругом спокойно, и небо даже голубое, даже пули не свистят... Только вдали грохочет. А он дрожит как овечкин хвост! И очень старательно обходит фрицев, которые лежат у нас в траншеях. Я заметил это. Вот перешагнул я через последнего фрица (а он следом за мной), сел да крикнул ему — ложись! Он взвизгнул так пронзительно, будто его в холодную воду опустили, да на оскаленного в предсмертной улыбке фрица — бах — и лежит, глаза закрыл, рот открыл и дрожит. Ну, сейчас же раззвонили мы по связи всем — хохочут над бедным доктором...

Скорее пиши мне, хоть левой рукой, я не обижусь, если почерк будет не красивым! Выздоровливай скорей! И никуда не уезжай. А я в Москву приеду! Ты мне тоже счастье все время приносишь, я теперь за себя спокоен!

Вот черт фриц! Как нарочно, зафугасил тяжелый, аж лампа погасла...

Ну всего! Жди меня! Пиши сейчас же!

P.S. Да! Только не вздумай рассказывать все это дома! Я их более дипломатично информировал. А то они — старички, будут ночей не спать. Я, кстати, гвардеец.

11.11.44.

Вот отшумел праздник. 6-го числа сидел я у радики и слушал Москву, т. Сталина. Долго пришлось ждать начала доклада, и я слушал музыку, песни из Москвы... Когда я закрывал глаза, слушая звон колокольчиков “Коминтерна”, то вдруг охватывало такое сильное чувство близости этой Москвы, что казалось, стоит только раскрыть глаза, выбежать из дверей, то останется несколько шагов до подъезда дома на Кузнецком, и вот я взбегаю с яростно колотящимся сердцем к дверям, и звоню два раза...

Чувство это было до того щемяще-острым, что я нарочно раскрывал глаза, с надеждой — а вдруг это правда...

Но из блиндажа видны только траншеи, выкопанные в чужой, польской глине, освещаемые цветными колеблющимися светами немецких ракет... Да вместо гудков авто и звона трамваев — уханье тяжелых разрывов, да шмелиный посвист фрицевских пуль, которые он сыплет, не скупясь, особенно в эти дни...

И я вновь с грустью закрывал глаза, снова поддаваясь очарованию звона московских колокольчиков...

Фрицы хотели испортить праздник ночью (а они сейчас темны, хоть глаз выколи) — подобрались сквозь пехоту, и напали на одну из моих пушек, но обошлось все благополучно...

Большей радостью забилось сердце, когда сказал Сталин, что “есть все основания предполагать, что Красная Армия выполнит свою задачу в недалеком будущем”... И хоть трудность ее реально стоит перед глазами в виде проволоки, торчащих из земли пушек, гула танков за леском, сердце наполнилось хорошей, крепкой уверенностью...

Правда, омрачает немножко настроение мыслишка, что не всем дойти до конца, что кому-то придется лечь в чужую холодную землю, но, как известно, каждый по секрету от всех, таит надежду — авось не я...

7.11.44.

Обрадовался я здорово твоему приезду в Москву. Хоть за тебя, последнего из моих старых друзей, могу я теперь быть спокоен, что ты наверняка останешься живой.

Ты меня прости, но после всех потерь дорогих мне людей я именно так воспринял это вчера...

Больше воевать не езд, хорошо? Хватит с тебя. Я уж как-нибудь за двоих тут буду. Даже буду тебя (это по секрету от всех) числить среди моих разведчиков.

И обо мне не беспокойся, как я о себе не беспокоюсь. Это первые дни кажется, что снаряд, каждый снаряд, летит именно в тебя, а потом начинаешь ощущать обратное, когда привыкнешь, что, как бы он угрожающе ни шуршал и ни выл, он обязательно ляжет никак не ближе 10 метров.

Сегодня хорошо кругом, спокойно... Ночь темная, хоть глаз выколи, и только пули жалобно свистят над замерзающей осенней землей. Совсем как в песне...

И мне даже теплее становится, когда я, посасывая свою трубку, сочиняю тебе это письмо, хоть превесьма кругом холодно, а в нашей тесной землянке даже не бьется в печурке огонь, капая слезами смолы... Да, ты теперь далеко-далеко, скоро лягут меж нами снега...

Ну, я кажется, опять в поэты полез. Сколько уж раз я ругал себя последними словами за такие поползновения! Тьфу! Черт бы меня побрал! — а пожалуй лучш — сама сатана?...

P.S. М-да, а трудновато мне дойти до тебя... Как посмотришь на колья с проволокой, что торчат впереди сплошным забором...

Ну всего!

21.12.1944.

Снилось мне будто я в Москве, и иду к тебе, и все никак не могу дойти... Вижу уже тебя, но ты никак не хочешь смотреть в мою сторону. И я тогда начинаю обижаться и прохожу нарочно мимо открытой твоей двери. И мне до слез больно, и у тебя вижу — такое же состояние... И тут подвертывается Зоя К. и очень настойчиво старается нас помирить... А когда она уходит, мы без слов берем друг друга за руки, смотрим в глаза, и опять счастливы...

Это верно мне снится оттого, что от тебя ни строчки не получаю...

И хоть убеждаю все себя, что это твоя болезнь тому виной, все же на душе и беспокойно и тоскливо.

Очень ведь хочется все время знать, что ты обо мне вспоминаешь. А то забудешь хоть на минуту — и снаряд клюнет как раз в то место, где я сажу. Ей богу — такое чувство...

Скоро пойду в большой-большой бой. Тогда не обижайся, если некоторое время писать не буду совсем... Но это — по секрету!

Да! И с Новым годом! Чуть не забыл!

конец 1944.

Несколько дней назад получил твое первое письмо после долго-долгого молчания.

Получил я его как только появилась возможность доставлять к нам почту. Ведь я был в очень щекотливом деле — мы вскочили между зубов проклятого зверя прямо в пасть, и начали выбивать ему зубы изнутри, сея панику и ужас на дорогах. Много кюветов и обочин усеяно сейчас тысячами машин, повозок, велосипедов и военных и гражданских фрицев...

Дело шло легко и хорошо. Потом фриц немного опомнился, и тут нам пришлось попотеть...

Много раз приходилось звать тебя на помощь...

Позавчера шесть раз ты спасала мне жизнь, Иринка. Мины ложились так густо, что, казалось, черная ночь кругом... Эх, знала бы ты, с каким наслаждением приходилось прижиматься в грязь и воду (а погода — прямо весна) — когда зловещий вой начинал приближаться!.. Уткнешь голову и руки в какую-нибудь ямку полную грязи — и чувствуешь, как по спине бегают холодоки...

Все логово зверя перевернули кверху дном... Представить эту картину можно, когда припомнишь все, что он делал у нас... Так долг оказался красен, очень красен платежом...

Русский солдат вряд ли когда жил так, как здесь... Не было разве что птичьего молока. Правда, думать обо всем этом было некогда... И бросать приходилось много хорошего...

Дома я не мог привыкнуть к трупам, а как пришлось полежать в их приятном обществе, стараясь потеснее прижаться и подсунуть под них голову, так привык...

Сейчас писать трудно, не спал я нормально с того дня, как ты услышала салют за нас. Так, в ровике, или в хате на полчаса-час — и дальше и так три недели, которые кажутся годом... Сейчас как пьяный немного.

2 января 1945.

Иринка, здравствуй!

Прости, что долго не писал, я, правда, уже потерял счет дням, потому что работаем день и ночь — на морозе, на ветру, сплю урывками, и руки все время от холода неловкие, карандаш держать трудно. Сейчас вот, скрючившись, сижу в землянке величиной с большой ящик. Еле-еле даже такую выдолбили в промерзшей чуть ли не на метр земле. Долбили больше суток, из под ломов и кирок летели искры. Так всю ночь под новый год и проработали — днем ведь нельзя — днем сиди и не рыпайся...

Зима без снега, холодная и воющая...

Только утром выдали спирта, и это напомнило, что наступил новый, 1945 год... И тогда, сидя в ровике, выпил я за него, за тебя — (а ты не забыла за меня выпить?) — и за то, чтобы остаться в живых всем нам, сидящим вместе... Хотя иногда в это верить, откровенно говоря, трудно...

Вот только писем от тебя я не получаю, из дому написали мне, что ты вышла из госпиталя, и будешь учиться, а от тебя я ничего о тебе не знаю.

9 января 1945г.

Очень я по тебе тоскую. Вот складываю письмо так, как ты мне когда-то присылала — и чуть-чуть еще грустнее становится... Скоро будет год, как мы не виделись с тобой. Много произошло и со мной за это время. И в пехоте в летнем наступлении побывал — правда скорее случайно — как привел маршевый взвод, так и пошел с ним в составе дивизии — не было командира, и к партизанам там же попал, и вот теперь в противотанковой артиллерии воюю... Пока везло и везет, не знаю, как будет дальше... А от тебя девять месяцев имею только считанные, написанные будто бы невзначай, строчки. Берегу я их все время, в каждом письме прошу тебя написать еще — и все не получаю. Напиши же, наконец — отчего?

Мать написала, что тебя положили еще на одну операцию и что на фронт больше ты не поедешь — а от тебя самой я ничего не знаю...

Я все в тех же местах — езжу между Ломжой и Варшавой. Где по газетам узнаешь — отбивают атаки танков — так я там. Но, думаю, скоро и сами начнем бить и гнать их. Был я и под Ломжой, и под Остроленкой, и под Маковым, и у самой Варшавы, на месте сиюю редко — такого уж рода служба... РК... как пробку — в самые отчаянные дыры...

Недавно попались мне хорошие стихи Твардовского — из поэмы “Теркин” — глава “о любви”. Очень понравились — “И что дальше без нее, то она дороже... Обойдись в пути большим глупой славы ради, без любви, что видел в нем, в том прощальном взгляде”...

Пиши же, хоть изредка, но не так редко, как сейчас, за эти девять долгих месяцев.

Без этого ведь, кроме шуток, бесконечно труднее...

До свидания, моя маленькая вояка!

8 февраля 1945.

Здравствуй, черт тебя возьми совсем! Почему раньше не описала мне все, что пришлось тебе пережить? А я голову ломаю — откуда у

нее такой отчаянный пессимизм? И только еще больше обижаюсь — вот думаю — забрала себе из каприза такие мысли отчаянные в голову! И писал тебе совсем не то, что нужно бы было написать тебе, чтобы помочь стать опять веселой и забыть всю грязь, которой везде не оберешься... Главное то, что сил своих ты не щадила — а мнения этих н.ш. — это не стоящий ломанного гроша звук... И наплюй на все это!

У меня таких же вот эксцессов, думаешь, нет? Вот приеду — расскажу. И Яшкины письма — думаешь ему было легко?

Тут не стоит считаться со всем этим сором, что несется вместе с ураганом, который очищает землю от дряни.

Обидно? — Ерунда! Главное — ты сделала все, что могла — и — живая (а это черт знает какое большое счастье) — дома! — ты только осознай так это — насколько такое счастье велико! Мне поверь — я уже некоторое время лицом к лицу со смертью непрерывно нахожусь — и такое дело оценить могу...

Германию мы потрошим во всю. Я с конницей Осликовского ходил три недели по тылам немцев, и те долго не могли понять тактику этой “банды”. А как поняли — мы ушли... Правда немного досталось... Вступаю я в партию сегодня. А позавчера представили меня к ордену.

Не обижайся, если снова я некоторое время не смогу писать. Потому бои начинаются снова жаркие, такие, что “Катюши” бьют с хода, в упор, сами едва не страдая от разрывов. А мы со своими крохотными игрушками работаем в хаосе из огня, грохота и визга...

12.2.1945.

Пишу тебе из самого звериного логова; два дня не вылезая сiju в ровике, созерцая картину грандиозного сражения. Для меня работы пока не было. Решил написать тебе. Все время ты вспоминаешься под песни “Катюши”, вой и грохот...

Главное, живой покуда...

Я получил от тебя уже два хороших длинных письма, и жду еще, хотя почта ходит сейчас неаккуратно, и первое твое письмо шло больше месяца. Догнать меня не могло — я в тылу у немцев был целых три недели. В Восточной Пруссии, будь она трижды проклята... Немец, он очень отчаянно здесь дерется.

До свидания, моя Золотоглазая!

19.2.1945.

Три дня был в жестоком бою, фрица пересилили, мы и он сбежал. Сейчас, преследуем его на подступах к его логову. Это уж второй раз я иду туда.

До сих пор везет мне, родная.

Ближе чем в двух метрах, снаряд ко мне не падал..., а осколки только что шинель пробивали, меня не трогали... Дальше если так будет везти — жди трех звонков.

Вижу тебя во сне иногда, когда сон снится. Снится-то он не всегда — проваливаешься словно в черную яму — ведь сон такой — час-два — все урывками. А приснишься — всегда ласковая и хорошая. Улыбаешься — чуть грустно и так хорошо...

Жду все продолжения твоих злоключений в Румынии — ты ведь писала — продолжение следует — и опять замолчала.

Но, м.б., не ты теперь виновата — а то, что я иду слишком быстрее — быстрее почтарей...

И верю, что идут, идут вслед мне письма твои, а в одном из них фотография... Я имею основания верить? Верно ведь?

Сейчас можно уснуть немного. А завтра — вернее сегодня уже — сейчас часа три ночи — дальше, в путь и в бой...

Но ты со мной — и мне ничего не страшно.

До свидания, помни меня, если судьба зло подшутит надо мной...

До свидания родная, спи спокойно, м.б. я приду к тебе во сне. Пусть пока только во сне, что ж поделать...

25.2.45.

Что же ты редко все-таки пишешь?

Мне бы хотелось после каждого боя получать от тебя пару ласковых теплых слов... Домашние, и те пишут мне чаще, хоть я их не особенно балую вестями о себе...

И забыла, что нужна мне, очень — очень, твоя физиономия.

Я упросил фотографа, что снимал меня для партбилета, сделать лишнюю, и шлю ее тебе — никому другому.

Я на ней уже не такой толстый, как той зимой — ну это от того, что пришлось мне много, высуня язык ползать под огнем и не спать ночей вот уже полтора месяца наступления...

Физиономия довольно неказистая, но ты сумеешь ведь разглядеть меня такого, каким ты меня любишь — так как я люблюсь на твою фотографию, которую ты называла сама “беглой каторжницей”, и лучше которой я не знаю...

Иринка моя, помнишь те симоновские стихи — “по праву тех, кто может не вернуться” — они сейчас звучат для меня по новому.

Эх, черт возьми, в бой снова, не дал фриц дописать.

10 марта 1945.

Вчера получил твоё письмо. Ты пишешь, что не можешь понять, чем я занимаюсь — самой беспокойной на войне работой — командую разведкой и связью. Пока живой и здоровый. Скоро, видимо, погляжу море.

Мы пробиваемся к большому городу Д., “вольному” городу...
Скоро вся эта волынка кончится... Эх, дожить бы...

12 марта 1945.

Наступает весна, та самая, на которую возлагали мы столько надежд. Весна, правда, здесь нехорошая, не такая, как, верно, у нас в Москве — море холодное и злое; то заваливает все снегом, то ветром с дождем вновь сгоняет весь снег, превращая все кругом в отчаянное месиво по колено — грязь, мокрый снег... И в эту кашу приходится ложиться как в постель, когда снаряды или пулеметные очереди свистят над головой... Промокнет все, весит шинель и прочее не меньше 2-х пудов.

Но немца бьем. Не сегодня-завтра увидим море, которое пока чувствуем по его неприветливому дыханию...

Зато в другом отношении хорошо воевать здесь... Все богатства Европы здесь — французские вина, испанские сигары, турецкие сухие фрукты — в общем, не хватает тут только птичьего молока...

Ну — буду живой или не буду? Очень хочется — пешком бы пошел до Москвы с радости...

Кстати — в письме, что написал сейчас отцу забыл напомнить ему, чтобы уже начал выяснять возможность возвращения моего в университет — а то потом поздно будет — до осени надо выбраться из серой шинели...

13 марта 45.

Вот выпала сейчас снова возможность написать кому-нибудь письмо (а за такую возможность хватаешься, как утопающий за соломинку) — и опять пишу тебе — больше ведь никого не осталось из друзей, с кем можно поделиться мыслями и чувствами, которыми так богата сейчас моя жизнь...

Каждый день приносит столько новых впечатлений, что разобраться в них нет никакой возможности сразу...

Ведь сейчас передо мной — картина крушения огромного государства, по величию не имеющая себе равных... Припоминается финал “Гибели богов” Вагнера... Там, куда я пришел, оказались старые знакомые — перепуганные немцы из Пруссии, которых мы обогнали, несмотря на то, что они бежали что было мочи, в свой Vaterland...

Старики, женщины, дети... Судьба их очень трагична... Поляки не хотят ни приютить, ни дать им куска хлеба... Ну а солдаты — не стоит описывать, как с ними обходятся... Несмотря на строгие приказы... Уж очень накопело сердце...

Тысячи судеб, тысячи жизней переплетаются в страшном узоре этой гигантской катастрофы... Трудно сказать, что я испытываю при виде всего этого...

Да, нет сейчас большего наказания и позора, чем быть немцем...

Но судьбы этих людей, такие, в отдельности взятые, трагичные, кажутся такими мизерными на фоне день и ночь бушующего на этой земле возмездия...

Дымные зарева над городом Д., пронизанные кометами “Катюши”, вспышки чудовищных разрывов и гром, грохот, от которого глухнут уши...

Эта феерия настолько чудовищно-величественна, что человеком, способным на проявление чувств, себя ощущать перестаешь... Чувствуешь себя частью этой разгоревшейся стихии, и на все остальное смотришь с какой-то вне мировой точки зрения...

Сейчас, конечно, трудно осознать, и тем более описать толково все, что чувствуешь так непосредственно, но что-то вроде...

20.3.45.

Еду в свои “системы”... Вот одно только жаль — теперь писем от тебя не буду получать очень долго... Дней через пять пришлю новый адрес. Те, что ты послала на старый, мне перешлют.

Ну вот, Иринка, и все что сегодня могу написать. Точно еще о своей судьбе гадать не могу... Но, конечно, уж лучше, чем в “прощай — родине” — это так среди артиллеристов зовется та система, где я провоевал полгода...

25 марта 45.

Наступила здесь, в далекой-далекой от тебя земле, чудесная весенняя погодка... В лесу, где я два дня уже живу, дожидаясь

назначения, так хорошо, что не хочется верить, что совсем рядом идет большущая битва, штурм большого города...

Солнце нагрело стволы деревьев, мох, толстый слой прошлогодней сухой листвы, и в лесу очень тепло. Я вчера пролежал часов пять, раскинув руки и глядя в небо... Оно такое голубое... И кажется, видишь в нем все, о чем мечтаешь... Солнце припекает ласково, и кажется что кто-то любящий склонился над тобой и убаюкивает, навевая красивые мечты и сны...

Временами в тихий шепот леса врываются шквалы артиллерийского огня, случайный снаряд прощуршит над деревьями и рванет где-то, и опять все тихо...

А сейчас, когда я сидел на пеньке, пролетела самая настоящая бабочка... Трудно поверить, какое это доставляет все наслаждение после зимы на переднем крае! Теперь только даешь себе отчет в том, что все-таки пришлось пережить за эти полгода. Когда жил так — ничего не замечал просто. Целым и невредимым остаться там, где я работал, было очень мудрено.

Ты бывала у отца моего? — Я ему довольно подробно описывал те сражения, где я был, правда, избегая упоминать о своей роли там, в этих боях, а писал будто бы наблюдал все это со стороны...

А доставалось мне крепко не раз и не два. Ты знаешь, м.б., что тот значок, что я носил до последних дней на левом рукаве, называют значком “смертников”, а те игрушки, на которых я работал — “прощай-родина”? Для очень многих моих товарищей эти названия оказались справедливыми... А что я оказался одним из счастливцев — то, видно, суждено мне опять тебя увидеть... Но зато теперь работа у меня будет спокойней. На таких игрушках, почти в 3,5 раза больше, работать куда интересней — тут и математика, и графика нужны... Эти игрушки отец мой видал, когда навещал меня в 42-м году. Он поподробней тебе расскажет о них, чем я это могу в письме сделать...

Я то сам, правда, опять на переднем крае буду — я уж теперь записной К.В.У., на огневой не усую...

А бой идет рядом жестокий... Бьют “Катюши”, пушки всех размеров, авиация идет эшелон за эшелонем. Немец никак не хочет отдавать города, хоть бьют его уже третьи сутки.

Но это не беда, скоро сомнем его тут. А потом все разом на Берлин навалимся, и будет конец войны.

Интересно вот только — будет он, этот самый пресловутый конец, летом или раньше?...

Да, и адрес мой я уже знаю, только не знаю буквы. Но это не беда — дойдут — полевая почта 07056. Пиши, и передай домашним моим. А то им сегодня писать уже не буду.

Привет всем знакомым, и особенно твоей маме. Скажи ей, что я бы сейчас истопил для нее сто печек и двести раз сходил бы за хлебом, и не поленился бы, хоть, между нами, лентяй то я огромный...

28 марта 45.

Сегодня уже бросал к фрицам шестипудовые гостинцы. А им и без них там тошно... По дороге из города бредут десятками тысяч жители. Когда начинают рывкать мои игрушки, то словами не опишешь, что с ними с перепугу делается. А тут еще “катюша” из-за домов стала пускать свои метеоры... Тут уж они решили, что конец света пришел...

А солдаты от хохота по земле валяются...

“Вольный” город горит... Там бьется наша пехота, а мы посылаем в этот хаос из огня и дыма своих “поросят”...

31 марта 45.

Вчера вдруг неожиданно встретил человека, который и тебя знает. Получилось это так. Освоился я с новыми людьми, познакомился со всеми моими игрушками, сижу, читаю. Вдруг кричат — по местам! Когда все было готово, я увидел, что кругом стоят киноаппараты, и готовятся нас снимать.

Физиономия одного из операторов почему-то не давала мне покоя. Пока ребята мои возились у игрушки, я подошел и заговорил. Ну, так и есть — Семин. Ты знаешь ведь его по госпиталю? Так вот снял он меня на кинохронику, теперь ходи в кино почаще, гляди в оба. Отец мой приблизительно тебе опишет, у каких игрушек я работать должен. А я стою слева от нее, подаю команду.

Кроме того, сделал он ряд снимков лейкой. Обещал переслать домой. А ты забери у мамаша те, которые тебе понравятся больше. Так и передай, чтобы отдала.

Поговорить, расспросить его подробнее, не успел, он торопился, но обещал заехать еще.

16 апреля 45.

Привет из центральной Германии!

Я снова на переднем крае, на маленьком “пяточке” за большой рекой... Точнее адрес указывать нельзя, сама понимаешь... Фриц отчаянно отбрыкивается от петли. Впервые за все наступление вижу я его самолеты... Даже своих “фау” не жалеет он для нас... это самолет-снаряд. Ну ничего, и они его теперь не спасут!

Да и, откровенно говоря, это вещь и не настолько страшная, как он думает... Туда, куда он хочет — никогда не попадет... Правда, воронку он делает такую, что спокойно влез бы дом средних размеров, а осколки летят аж на километры кругом... Но все равно ж ему будет крышка!...

Бью фрица и я. Как — ты знаешь. Увижу интересное что, открою таблицы логарифмов и конец ему.

Живу в общем спокойно. Блиндаж себе соорудил с накатом в 6-ть толстенных бревен — почти от любого снаряда спасет... Вот работы только много — писем писать время никак не выберешь... Так что не обижайся! И пиши сама. А то ведь я уж месяц как не получаю ни строчки...

20 апреля 45.

Вы уже, верно, слышали салют нашему фронту (я не в том, где был)... Я в самой гуще этого грандиозного, м.б., последнего на земле, сражения... Потому только сегодня и смог урвать минуту для письма.

Писать пока больше не могу, т.к., кажется, про нас еще не объявили официально. Но это сегодня, а когда ты письмо получишь, то увидишь где я был две недели назад... Так что, м.б., ты смотрела салют в честь Жукова, и не знала, что и мне тоже салютуют пушки Москвы...

Ну до свидания, теперь, должно быть недалеко... Авось те считанные дни не сыграют надо мной злой шутки...

25 апреля 45.

Пишу тебе из большого города, всемирно известного — если цензура не зачеркнет — Берлина. Сижу с своими ребятами на крыше, наблюдаю и командую огнем... Вдаль от меня уходит улица под красивым названием — “Unter den Linden” — это значит — “Под липами”...

В городе мне, как старому москвичу, воевать нравится больше, чем в траншеях посередине чистого поля...

Эх, рассказать мне тебе столько хочется! На днях водрузим знамя победы над этим треклятым городом, наверно — завтра к вечеру... А ты в Москве слушай салют нашему Жукову — хотя что я пишу — ведь когда ты получишь это письмо, этот салют уже будет позади... А как

мне хотелось бы, чтобы сегодня, 25 апреля, ты знала, что я сижу на крыше на одной из берлинских улиц и завоевываю салют, что ты будешь слышать в далекой Москве завтра — послезавтра!...

Ну всего! Жди все же трех звонков!

6 мая 45. Берлин.

Сегодня у меня такое скверное настроение, что хоть вешаться в пору; хоть и закончилась для меня война...

Произошла такая печальная история. Прислала мне Люб. Петровна письмо, и там была твоя фотография — увеличенная с той, где ты такая веселая. Сел я писать письмо в траншее, написал ей длиннущее письмище. А конверт ее письма только с твоей той фотографией, лежал рядом. Тут меня вызвали, вернулся я — нету конверта! А уж мы проехали километра три по улицам...

Всю радость мне эта история испортила. Во-первых — фотография-то единственная, к тому же насмотреться даже не успел, и столько ждал...

А во-вторых — попадет еще конверт с обратным адресом Л.П. и твоей фотокарточкой (больше там ничего не было) к какому-нибудь фронтовому Дон-Жуану, и начнет бедная Любовь Петровна получать ни с того, ни с сего, чувствительные письма...

Влез я в трактор, порвал со злости фотографии немецких киноактрис, которыми механики разукрасили всю кабину, и все таки легче не стало...

Вот такая то моя жизнь. А тут еще ты ни строчки не пишешь.

Хоть одно хорошо — Берлин взяли мы, вчера ездил на велосипеде по всему городу. Вернее по тому месту, где раньше был город... потому английские и наши бомбы дело свое сделали... Немногим больше осталось от него, чем от Сталинграда...

Теперь задач — попасть в Москву. Эх, поскорее бы...!

10 мая 45.

Третий раз принимаюсь писать тебе, и опять не знаю, удастся ли кончить. Два уже разорвал на клочки.

Тоскую по тебе сильно-сильно. Особенно теперь, когда кончился этот ад...

Настроение такое, что ни к чему не лежат руки, сорвался бы, плюнул бы на все, и бегом бы бежал до Москвы, из этого уже опостылевшего Берлина.

Ночью долго не могу заснуть, все представляю себе, как ворвусь я в парадное на Кузнецком мосту, как встретишь меня ты... Лежу на траве среди деревьев, и мне кажется, что ты сидишь рядом и молча ласково улыбаешься.

И хожу злой на все, чувствую себя так, как верно чувствует себя зверь, попавший в клетку...

А ты письмами меня не балуешь. Ну неужто ж тебе трудно раз хотя бы в три-четыре дня черкнуть?!

P.S. Приехал ли Сёмин в Москву? И видели ли меня в кино?

13 мая 1945 Берлин.

Два дня назад получил твое письмо с исключительной оказией — отцом, а сегодня — за 27 апреля.

Из писем этих с превеликим огорчением узнал, что ты почему-то не получала моих писем, а знала обо мне только из писем моих домой. Очень огорчило это меня. Я ведь писал тебе даже чаще, чем домой, а не только что реже...

Правда многие письма тебе так и не отправил... Напишешь, прочтешь, и призадумаешься — пройдет ли оно через цензуру?... Письма к тебе я всегда ведь садился писать, когда появлялась необходимость поделиться с кем-то близким чем-то волнующим и важным, а это часто, да и пожалуй чаще всего, шло вразрез с интересами цензуры...

Так что черт его знает, м.б., те, что я отправил, попали вместо тебя, да в окр...

Писал я тебе и из Данцига, и из-под Берлина, и из Берлина...

Ты пишешь, Иринка, что чуть недовольна тем, что я описываю тебе то, что ты можешь прочесть и в газетах, а о себе совсем мало...

Так в этих боях, которые по грандиозности своей не имеют себе подобных, как-то все личное, маленькое, действительно-таки подавлялось фантастическим видением непостижимо огромной катастрофы, какого-то феерического величия событий, так что я уже сейчас не могу толком рассказать о себе, как о личности в этих событиях... Это действительно так...

Вот сидим с отцом сейчас, и ему интересно именно это тоже... А я вместо того, описываю ему картину прорыва обороны на Одере, или крушения Берлина. Эти картины были настолько потрясающими, что вспомнить свою роль, роль всего-навсего человека — кажется и смешным и глуповатым...

Вот представь себе...

Мы сидим в траншее седьмые сутки, под непрерывным обстрелом. Все надоело страшно. Развлекаешься иногда ночью тем что смотришь на горизонт, где должен быть Берлин. И иногда видишь тонкие слабые лучи прожекторов, какие-то колоссальные вспышки... Иногда “мессершмидты” приведут и бросят пять-шесть самолетов-снарядов. Огрызаются во тьме пушки... А земля, вся до последнего кусочка изрытая и истерзанная, пуста... И охватывает чувство, которое изредка испытывал я и раньше, чувство ничтожности и хрупкости своего существа перед каким-то непонятным, таящим свою силу, всю огромность которого и представить как-то жутко, существом. Это иногда приходилось мне раньше испытывать во сне...

Это чувство, конечно, охватывало в обороне лишь минутами, даже мгновениями, чувство подсознательное, когда находишься один, когда не занят тем, что готовишь и сам все то, что должно произойти со дня на день, когда не рассматриваешь все это, как человек, которому весь механизм этого существа, известен до последних винтиков...

Но вот в 3 часа утра 16 апреля, когда чувствовалось, что все уже готово, нас разбудили, и вполголоса зачитали обращение маршала Жукова и приказ. — “На вас выпала честь разгромить войска противника на ближних подступах к столице фаш. Герм. — Берлину и в короткий срок закончить войну!...” И вот все, что тайлось во тьме и в земле, вдруг развернулось и ожило в 5-00 утра 16-го апреля...

Был густой туман. Земля врага не видно. Но все траншеи заполнены артиллеристами со стереотрубами. Все поглядывают на часы, стрелки которых идут очень медленно... И вот когда стрелка стала на место, вся, казалось, вселенная, вдруг наполнилась багрово-красным светом, туман весь окрасился будто краской, и через несколько секунд в уши ударил обвалоподобный грохот, в котором отдельных выстрелов разобрать было нельзя... Ты слышала салют из 1000 орудий? Ну а здесь их было, чтобы не соврать, многие и многие тысячи...

И этот свет и грохот, длился не больше не меньше, как 2 1/2 часа. Тут для любого это зрелище очень ошеломляюще...

Там, куда летели все эти сотни тонн стали и тола, куда мчались метеоры “катюши” и “Луки М-ва” (эту штуку на фронте прозвали чуть-чуть неприлично), разрасталось новое зарево... Тянуло дымом и гарью...

Ну вот и представь, что может чувствовать человек при виде такого дела... Тут и гордость, и радость участника, и восторженный ужас просто человеческой души, и еще много такого, чего не передать словами...

А потом в этот ад ушла пехота, а за ними мы...

Земля растерзанная, битый камень бывших домов, гарь пожара, и в дыму, черно-багровом, чудом уцелевшая вся в белом цвету, яблоня...

И над всем этим рев сотен моторов в воздухе, треск пулеметов, хлопанье пушек и удары разрывов... Сгоревшие трупы людей и танков, домов и деревьев...

Обо всем этом нельзя рассказать спокойно... Поневоле срываешься чуть ли не на стихи...

И безудержное движение танковой лавины в прорыв, очень рискованный, когда всё валит по шоссе, а по обеим обочинам стоят пушки и бьют в обе стороны напрапалую... Вперед, на Берлин, вот он, конец войны, хватай его, скорей, скорей... Все черные, перемазанные, а радостные такие, как в праздник не бывали...

А потом — пламя дожирает в Берлине все, что не успели разбить англичане бомбами...

...Я сижу на высокой колокольне, и передо мной он, Берлин... Вниз смотреть жутковато, кажется что она вот-вот рухнет от случайного снаряда, а до земли черт знает сколько лететь — люди вниз как муравьи... и, откровенно, только усилием воли, довольно напряженным, заставил себя не слезть вниз...

Бой днем и ночью. Грохот, треск, пламя и гарь, кровь и трупы... И финал — на трех аэростатах поднимается кверху над городом огромное знамя...

И вот — странное дело: никакого бурного чувства радости... Война кончилась... Как-то спокойно все это воспринялось... Сели покурили... — “Ну что ж, кончилась, что ли?” — ласково улыбаясь, скажет один; “Да что-то вроде..., ну-ка, дай прикурить...” Совсем по иному, чем в Москве, судя по фотографиям и рассказу отца... Это уж какая-то привычка, идущая, верно, оттуда, что после жаркого боя солдат вспоминает, что у него еще вчера оторвалась пуговица, и очень досадует на то, что потерял иголку, и нечем пришить... Сразу появилось столько вещей, требующих внимания, что для того, чтобы осознать всю неповторимую великую радость момента, не осталось в душе места... А самое важное — остался живой, для живого человека мысль неудивительная, потому что иным он и не бывал...

Так что требуется какой-то взгляд со стороны, чтобы обрадоваться...

Еще мои личные переживания: очень жаль берлинских детишек и стариков, которые приходят просить хлеба... Для меня война кончилась, а для них началась другая, м.б., более жестокая.

А главное теперь, когда уже не рвутся снаряды, все это кругом, эти тряпки на плечах и все прочее, кажутся таким постылым, что готов бы плюнуть на все и бегом бежать в Москву.

Теперь эта и ближайшая, и единственная в жизни моей задача... И вбежать в твой подъезд, распахнуть двери, ворваться к тебе... Вот только тогда, верно, почувствуется радость, которую Москва познала 9 мая...

Если ты не получала писем моих, Иринка, то не думай ради бога, что я забывал тебя хоть на минуту... Вот здесь же вложу письмо, которое написал и не отправил, а таких ведь не одно и не два...

22.5.45.

Вот уезжает отец... После этого проклятая граница, чертов берлинский лес, станут верно, еще постылее...

Не знаю, как буду служить теперь... Чем кончится вся эта мирная военная служба для моей “саботажной” натуры, если она затянется на некоторый еще срок... Прямо гадать боюсь... Уж, кажется, лучше бы опять воевать...

Эти равнения, однообразие, как высший идеал, к которому должны стремиться все помыслы, вызывают у меня чуть ли не физическую тошноту. А тут я их еще должен сам устанавливать и “воспитывать” в этом духе людей...

Так что настроение мое представить не трудно... Одна надежда, без которой хоть в петлю впору лезть, что что-нибудь выйдет с увольнением в запас на учебу...

Ну а ты как думаешь дальше? Если бы ты, Ирка, могла избавиться от вечной угрозы “кочевого образа жизни”! Это еще один тяжелый камень, что лежит у меня на сердце.

Я тебе уже раз написал письмо в таком духе, но отправить не решился, ибо контрразведка за такие речи по головке не погладила бы...

Лес около Берлина, 22 мая.

п/п 07056-Ш

10 июня 45.

Прости, что не писал тебе, я так был занят, увлечен одним делом, увлечен и сейчас, что забыл из-за него все на свете, даже тебя! Не удивляйся, и не обижайся только!

Что такое — я в письме боюсь об этом говорить... Меня увлекла одна очень интересная мысль, такая интересная, что я занят ей все 24 часа в сутки... И в каждой мелочи, всякой, казалось бы, безразличной

вещи я вижу только ее, эту мысль, ее проявление. В связи с ней перечитываю и Маркса, и Толстого, и она становится все интересней и отчетливей.

Это со мной впервые такое состояние за всю войну. Правда, это очень мешает работе, даже с генералом я разговаривал очень рассеянно и не так, как любят генералы... Вышла неприятность, и я во всем, кажется, соединении приобрел скандальную известность, чего мне не хотелось... Переспорить-то я его переспорил, но...

P.S. Получил я приказ на орден “Отечественной войны 2 ст.”. А сегодня еще и медаль “За Берлин”... Да! Только не подумай ради бога, что увлекся я чем-нибудь вроде Frau какой-нибудь... Совсем, совсем не тем...

16 июня 45.

Ты уже, верно, успела обидеться на меня, что долго молчу? Не обижайся, пойми моё состояние теперешнее: живу в прескучнейшем лесу, вижу одни и те же физиономии, с большинством которых отношения у меня холодные и равнодушные... И все это после таких несоизмеримо богатых смыслом и красками событий, как Берлинский фронт и штурм Берлина... Совсем как в известных стихах — “труды, заботы ночью и днем — все, размышлению мешая, приводит в первобытный вид больную душу — сердце спит, простора нет воображенью и нет работы голове... зато лежишь в густой траве... и т.д.”. К числу последних забот прибавилась еще тревога за отца, который уехал от меня давно, но до сих пор (вот уже 20 дней) не шлет писем, и нет намека ни от матери, ни от тебя, что он благополучно добрался домой...

Кроме всего прочего меня очень занимают некоторые мысли, которые мне не дают покоя ни днем, ни ночью, а это, естественно, сказывается на работе; ведь работа эта такая, что не допускает никаких других мыслей и намерений, а в противном случае сыпятся взыскания за взысканиями.

И это при таком положении вещей, что довольно часто работа заключается в том, что без определенного для головы и мысли дела, и в то же время помыслить о другом совершенно невозможно...

Все это создает такое для меня тяжелое моральное состояние, что делиться им с тобой не позволяет совесть...

И чтобы окончательно не затосковать, не принять образ, подобный большинству окружающих, я жертвую деньгами из зарплаты, в виде вычетов за арест, и кое-что делаю и для себя. Что

именно — в письмах об этом распространяться не считаю возможным, а расскажу, когда приеду совсем... Во всяком случае, дело для меня значительное, спасительное и полезное. Об нем я уже писал отцу довольно подробно... И просил рассказать и тебе.

Привез ли отец мой тебе маленький подарок из Берлина?

23 июня 45.

Писем от тебя уже очень давно не получаю, а в проклятом этом лесу дни тянутся годами; особенно это тягостно после жизни, так богатой событиями, как последние дни Войны...

Скучно, до чертиков тоскливо, и даже водки нет, чтобы напиться... Спасаемся (а ребят вроде меня тут есть человека три) от тоски тем, что часов до 3-х утра болтаем обо всем, кроме строевой подготовки и уставов...

Кстати: очень тебя прошу узнать в твоём институте, насколько возможно о нем мечтать одному моему замечательному другу (очень, кстати, напоминающему Яшку). Он в чине капитана, с пятью орденами, лет ему от роду 24, учился раньше в ИФЛИ, а теперь единственный для него выход — поступить в институт, подобный Вашему. Он написал официальный запрос — но к нему могут отнести по-бюрократски. Напиши, пожалуйста, что ты насчет этого можешь посоветовать! Для человека это — м.б. единственная и последняя надежда в жизни...

Собрал я такую богатейшую коллекцию музыки на грам. пластинках, что в Москве за золото не достать — Бетховен, Вагнер, Лист, Бах, Гендель, Брукнер, Шуберт и масса других, столько, что один поднять не могу. Но мечтаю все их в конце концов довести до Москвы.

Вот так то...

Берлин. 2 июля.

Пишу тебе, хоть давно уже мои письма остаются безответными... Ломать голову над причиной такой немилости (мне все таки кажется, незаслуженной), не хочу, но все-таки грустно от того, что каждый раз мои отчаянные поиски в пачках прибывших писем оказываются безрезультатными...

Письма от отца получаю, но ничего определенно утешительного в них пока нет. А надежд — этого добра у меня у самого хватит... Конечно состояние, в котором я в настоящее время пребываю, чуть посложнее того, что я описываю в письмах отцу. По правде говоря,

неприятного в моей жизни сейчас чуть побольше, чем хорошего, о чем я ему расписываю...

Выход из всего этого, конечно, один — как можно скорее попасть в обстановку родную для меня. А так как он это знает, то я и не расстраиваю его родительского сердца лишними подробностями...

Это пишу я тебе не для того, чтобы оправдаться за свою, ставшую весьма неаккуратной, корреспонденцию, но затем, чтобы ты все-таки не подумала, что с отцом я делюсь всем, что думаю и чувствую, а с тобой считаю лишним... Дело просто в том, что помочь мне в этом всем невозможно ничем, кроме того, что предпринимает отец.

А в этой жизни я нашел себе дело по душе, которое не дает мне впасть в полное отчаяние. Я уж писал об этом отцу. Если интересовалась — знаешь.

Как твоя жизнь? Надеюсь, никаких сногшибательных фокусов не предельвала над тобой больше судьба? Дай то Бог!

А я себя чувствую так, как вероятно, чувствует себя рыба в сети, видящая так близко свою родную стихию, и ничего не могущая поделаться кроме мольбы, немой мольбы...

Ничего мне на ум не идет, хуюеу день ото дня... Репутацию чудака себе заработал, которой, откровенно говоря, не очень-то опечален, ибо чудаку часто прощается то, что не простилось бы не чудаку...

Ночь с 5 на 6 июля 1945 г.

Пишу тебе, находясь под властным впечатлением одной чудесной вещи Массне... Может быть, ты знаешь ее — “Таис”.

Скрипичная мелодия в сопровождении едва слышно звучащих арф и оркестра — звучит как мечта, такая хрупкая, нежная и дорогая, как тонкий хрусталь, который страшно тронуть... и полная страшно невыразимой в словах нежной грусти... То ли о том, что она, эта мечта, так хрупка, то ли оттого, что она мечта... Красивая, но всего лишь мечта...

Грустнее становится мне оттого, что кругом на целые тысячи верст нет человека, с которым всем этим можно было бы поделиться.

Люди меня окружают большей частью простые, хорошие и добросовестные в делах службы, но с которыми о многом не стоит и начинать разговора.

Когда сравниваю сейчас настроение свое с настроением на фронте, то хоть горько сознавать, однако приходится, что тогда я чувствовал себя гораздо лучше. Тогда я шел навстречу своей мечте, рискаю не дойти, но все таки шел.

Вероятно, так оно и есть, что движение к счастью и радости счастливее и радостнее, чем сами счастье и радость... Хотя я их то, собственно и не испытывал еще...

Иринка, напиши мне, что же ты молчишь?

Этим ты доставила бы мне счастливые минуты, которых я давно не знаю...